

Б. Ф. ЕГОРОВ

Понимание народности в окружении Николая I

Д. С. Лихачев в 1964 г. написал ценную статью «Социальные корни типа Манилова»¹ (не хрущевские ли показуха и утопии послужили толчком?), где убедительно раскрыл лицемерно-показной характер правящей верхушки России при царствовании Николая I. Развивая эту тему, я остановлюсь на истолковании понятия «народность» в николаевском окружении.

Манифест восходящего на престол Николая, изданный в день казни декабристов 13 июля 1826 г. (манифест подготовлен бывшим либералом М. М. Сперанским), не содержал никаких либеральных идей: утверждались незыблемость самодержавия и наличие единственной инициативы улучшений и исправлений в стране — инициативы сверху; подчеркивалась преданность и любовь народа к престолу. Эти идеи несколько лет спустя превратил в четкую тройственную формулу «православие, самодержавие и народность» недавно назначенный товарищем министра народного просвещения С. С. Уваров. Впервые он употребил формулу в 1832 г. в отчете об осмотре Московского университета; отчет он превратил в теоретическую декларацию основных руководящих принципов в идеологической сфере: Россия противопоставлялась губительно вредной по идеям и по нравам Западной Европе, а охранительным началом выдвигалась триединая формула. Уваров, который при Александре I проповедовал сближение России с культурной Европой, сменил курс на противоположный, и Николай I оценил это качество: в 1833 г. он назначил Уварова уже министром народного просвещения.

Лицемерная идеологическая политика, проводившаяся в предшествующем царствовании, главным образом императором, при Николае I была отдана в руки одного из самых безнравственных министров XIX в. Ярko обрисовал облик Уварова С. М. Соловьев: «...это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину-императору Николаю; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки».²

¹ Впервые статья опубликована в сб. Проблемы теории и истории литературы. Сб. статей, посвященный памяти профессора А. Н. Соколова М., 1971. С. 297—307. Затем статья перепечатывалась в двух изданиях книги Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. Л., 1981. 2-е изд. — Л., 1984.

² Соловьев С. М. Избр. труды. Записки М., 1983. С. 267—268.

Конечно, все знали об этом двуличии (или даже многоличии) Уварова, но таков был общий стиль жизни николаевской верхушки. М. И. Жихарев рассказал об интересной беседе бывшего декабриста М. Ф. Орлова с всемогущим А. Х. Бенкендорфом. Когда начались гонения на П. Я. Чаадаева, Орлов пытался заступиться за своего друга и стал доказывать Бенкендорфу, что философ-публицист был суров по отношению к прошлому России, а от ее будущего он ждет чрезвычайно много. На это граф Бенкендорф произнес историческую фразу, которая в переводе с французского гласит: «Прошедшее России было очаровательно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».³

Казалось бы, в свете такого «благоденствия» и триединая уваровская формула должна была бы быть незыблемой и оптимистичной. Но лицемерие всегда ведет к коррозированию, проржавлению трудных, «напряженных» зон, а таковой оказался третий элемент формулы. Сам Уваров прекрасно понимал обоюдоострость понятия «народности»: «Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие <...> все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях... Довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий...».⁴

Тирана весьма туманная, но объясняться более четко Уваров не мог и не хотел: проблема народности, как она ставилась немецкими романтиками и, в более расширенных и разнообразных вариантах, русскими эстетиками и критиками 1820—1830-х гг., вела к изучению национального своеобразия, к исследованию жизни и идеалов народа, а Уваров отнюдь не хотел углубления и расширения такой проблематики, этим и объясняется туманная расплывчатость определения третьего элемента по сравнению со значительно более ясными православием и самодержавием.

И недаром он боялся «народности»: в период «мрачного семилетия» реакционные круги даже триединую формулу стали воспринимать как чуть ли не крамольную и возрадовались отставке графа Уварова в 1849 г. с поста министра (титул Уваров получил незадолго до отставки, в 1846 г.). А еще несколько лет спустя известный иезуит кн. И. С. Гагарин выпустил в Париже брошюру «Будет ли Россия католической?» (в подлиннике: *La Russie sera-t-elle catholique?* Paris, 1857), где, подразумевая, очевидно, славянофилов под нынешними сторонниками триединой формулы, истолковывает ее как тайный революционный призыв: «Это не что иное, как восточная формула революционной идеи XIX века <...> Когда наступит время, очень нетрудно будет отделиться от самодержавия, отыскать в народности политические доктрины свойства самого радикального, самого республиканского, самого коммунистического <...> То же и с православием...».⁵ Хомяков в полемической брошюре назвал эти рассуждения Гагарина доносом.⁶ Справедливо. Но любопытно, как народность раздражала консерваторов!

Сам Николай I, принимая формулу Уварова как официальный лозунг, был весьма равнодушен к третьей ипостаси. Он одобрял «квасной патриотизм» пьес Н. Кукольника и позднего Н. Полевого, готов был показывать

³ Жихарев М. И. Петр Яковлевич Чаадаев Из воспоминаний современника Статья 2-я // Вестн Европы 1871 № 9 С 38

⁴ Цит по Цимбаев Н. И. «Под бременем познания и сомнения» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в Люди и идеи Мемуары современников М., 1989 С 30 Цитируется доклад Уварова Николаю I о деятельности министерства народного просвещения в 1833—1843 гг

⁵ Цит по Хомяков А. С. Соч М., 1900 Т 2 С 186—187

⁶ Там же С 187

свое понимание народных нужд вплоть до заявлений о необходимости уничтожить крепостничество, любил, бывая в Москве со двором, устраивать почти маскарадные «общения» с народом в Кремле, около соборов, кокетничал вместе со своей семьей, демонстрируя в летних петергофских домиках почти простонародную жизнь (конечно, с сотнями слуг!), но не проявлял никакого интереса к народной культуре, к фольклору, к этнографии. Николаю казалось, что он прекрасно разбирается в характере русского народа, рабски преданного царю и отечеству. Массовых крестьянских выступлений Николай не ожидал, уповая на вновь созданный корпус жандармов: он больше опасался тайных кружков интеллигенции.

А уж если речь шла о массовых народных движениях вокруг России, особенно о национально-освободительных движениях относительно малых народов, даже если эти народы по конфессиональным или племенным свойствам должны были бы быть близки России, тут царь оказывался их решительным противником. Как и Александр I, Николай не помог в 1820-х гг. восстаниям греков, румын, болгар против Османской империи. Он был державным легитимистом: целостность турецкой и австрийской империй ему была важнее судьбы угнетенных южных и западных славян. Любопытно, что термин «славянофил», широко уже распространившийся в 40-х гг., воспринимался в правительственных кругах весьма негативно, его трактовали как желание освободить революционным путем южных и западных славян, а потом, может быть, перекинуть огонь восстаний и в Россию. Революционный ореол постоянно сопутствовал славянофилам, даже во сне не мечтавшим о насильственных переворотах.

Когда молодой славянофил Ф. В. Чижов, семь лет прошедший за границей и специально изучавший южных славян, вернулся в 1847 г., то он был арестован на границе, доставлен под охраной в Петербург и подвергнут допросам относительно его славянофильских убеждений и его интереса к судьбе зарубежных славян.

Крайне характерно, что до славянофилов изучение быта, языка и фольклора зарубежных славян не вызывало никаких подозрений: в 1829 г. Российская Академия командировала Ю. И. Венелина для изучения болгар; в 1835 г. в университетах были открыты кафедры истории и литературы славянских народов, и будущие профессора получили длительные командировки в славянские земли: И. И. Срезневский (1839—1842), О. И. Бодянский (1837—1842), П. И. Прейс (1839—1842). И уж совсем параллельно с Чижовым был командирован В. И. Григорович (1844—1846), молодой профессор Казанского университета. Но к ним у правительства и жандармов, кажется, не было претензий: они не принадлежали к сомнительному кружку славянофилов!

Когда в марте 1849 г. младшего Аксакова, Ивана Сергеевича, арестовали в Петербурге и препроводили в III отделение, ему был предложен список вопросов, среди которых был один, основанный на перлюстрации письма к И. С. Аксакову его брата Григория: «Брат ваш Григорий <...> выражает надежду, что Австрия из немецкой превратится в славянскую монархию. Не питаете ли вы и родственники ваши славянофильских понятий и в чем оные состоят?». Вот где собака зарыта: Николай и его окружение трактовали славянофилов как радикальных панславистов, мечтающих о свободном объединении славянских народов.

Иван Аксаков по-честному разъяснил позицию русских славянофилов 40-х гг.: «Что касается до моих славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои не славянофилы в том смысле, в каком предложен этот вопрос. В панславизм мы не верим, во-первых, потому, что для этого необходимо было бы единоверие славянских племен, а католицизм Богемии и Поль-

ши — элемент враждебный, чуждый, несмешиваемый с элементом православия прочих славян; во-вторых, все отдельные элементы славянских народностей могли бы раствориться и слиться в целое только в другом, крепчайшем, цельном, могучем элементе, т. е. в русском; в-третьих, большая часть славянских племен заражена влиянием пустого, западного либерализма, который противен духу русского народа и никогда к нему привиться не может. *Признаюсь, меня гораздо более всех славян занимает Русь, а брата моего Константина даже упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме России, и то даже не всей, а собственно Великороссии*».

Николай I, внимательно читавший ответы Аксакова (фраза подчеркнута, очевидно, им), оставил на полях следующую заметку: «И дельно, потому что все прочее мечта. Один Бог может определить, чему быть в дальнем будущем; но ежели стечение обстоятельств привело бы к сему единству, оно будет на гибель России».

Любопытна последняя фраза: Николай дико боится перекраивания европейских границ!

И особенно важно развернутое резюме царя на славянскую тему: «Потому, что под видом участия к мнимому утеснению славянских племен в других государствах, тмится⁷ преступная мысль соединения с сими племенами, несмотря на подданство их соседним и частью союзным государствам; а достижения сего ожидали не от Божьего определения, а от возмутительных покушений на гибель самой России».⁸

Да, смертельно боясь революционных потрясений, Николай отворачивался от судьбы угнетенных народов, как приостановил в 1848 г. робкую подготовку крестьянской реформы внутри России. Вот почему и, казалось бы, невинное понятие «народность» воспринималось как революционный лозунг.

⁷ Редкое слово «тмится» Николай, видимо, заимствовал у любимого драматурга Н. Кукольника, у которого главный герой пьесы «Торквато Тассо» (1833) в двух монологах пятого акта повторяет рефрен: «И снова все туманится и тмится».

⁸ Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 2. С. 510, 505.